
СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ
18+

Термостат Термостат
Донор

https://litres.ru/75065918
SelfPub; 2026

Аннотация

Заднее левое сопло опять заговорило на подходе к Хильде. Корф, частный сыщик из пояса астероидов, третий месяц не знает, что с ним делать: денег нет, есть долг за воздух и напарник — списанный боевой робот, который умеет ждать.

Убивать здесь незачем: денег при себе никто не носит, ценностей нет. Люди изменяют, судятся из-за наследства и иногда исчезают, а исчезновения не расследует никто — некому платить. Поэтому, когда на счёт приходит аванс ровно по его долгам, до последней цифры, Корф понимает: заказчик знает о нём всё. А о заказчике он не знает ничего.

Четырнадцать тысяч зеркал будущей Сферы. Техник, не вышедший на смену. Серая карточка с зелёным крестом и тридцатью одной отметкой. След ведёт с Луны вниз, в город, затопленный по окна, где у двери с белым светом стоит очередь, и дальше — туда, где лучше бы не находить ответа.

Содержание

Глава 1 4
Глава 2 12
Глава 3 16
Конец ознакомительного фрагмента. 23

Термостат
Донор

Глава 1

Заднее левое сопло основного двигателя снова заговорило на подходе к Хильде.

Оно не ломалось — ломалось бы, Корф давно бы его поменял, и дело с концом; оно именно говорило: на разгоне, когда остальные три шли ровным синим шнуром, левое заднее начинало дрожать на какой-то своей, отдельной частоте, и дрожь эта шла по раме, по переборке, по подлокотнику кресла и по зубам, и к ней нельзя было привыкнуть. Третий месяц. Два раза он лез туда сам, в скафандре, с фонарём, и смотрел на катод, и катод был как катод — изъеденный, но в допуске, — и он закрывал кожух, и сопло молчало неделю, и потом опять.

Хильда-девять висела в пустоте, как висит паук, когда нитки не видно: скала километра в три, серая, с одной стороны оплавленная до стекла каким-то давним ударом, и вокруг скалы, на тросах, — кольцо мастерской, медленно поворачивавшееся ради половины земного веса, в котором ещё можно было работать руками. Доки торчали из кольца во все стороны, как шипы. В доках стояло то, что сюда приводили

чинить: рудовозы с ободранными брюхами, старые тягачи с оторванными антеннами, пара таких же, как у него, челноков частников, и всё это было одинакового цвета, потому что в поясе всё было одинакового цвета — цвета пыли, которая здесь липла ко всему и не стиралась ничем, кроме времени.

Солнце отсюда было маленьким. Ровно таким, чтобы его можно было закрыть ногтем большого пальца, и люди в поясе делали это машинально, когда думали, — закрывали ногтем солнце. Его здесь не любили. Оно ничего не грело и всё засвечивало.

— Катод менять, — сказал консультант. — Это сразу. И блок питания на нём смотреть, он у вас, скорее всего, тоже уходит, вот тут видно, — он повернул планшет, на планшете были столбики, Корф на столбики не смотрел. — Если менять только катод, снова заговорит через полгода. Если с блоком — лет на пять забудете.

— Сколько.

Консультант сказал сколько. Корф кивнул так, как кивают, когда цифру знали заранее и надеялись, что ошиблись.

— Можно в рассрочку, — сказал консультант. — У нас с банком договор. Ставка сейчас…

— Я знаю, какая сейчас ставка.

Ставка сейчас была такая, что за пять лет сопло обходилось в два челнока, и это называлось рассрочкой, а то, что было за рассрочкой, если не платить, называлось контрактом, и контракт в поясе означал, что ты летишь туда, куда

скажут, и делаешь то, что скажут, пока долг не закроется, а долг не закрывался никогда, потому что в контракт входила еда, вода, воздух и амортизация тебя самого. Корф знал людей, которые взяли кредит на двигатель. Они и сейчас где-то летали. Не на своих двигателях.

— Платить буду сразу, — сказал он. — Делайте.

Консультант, кажется, хотел что-то сказать про предоплату и не сказал — посмотрел мимо Корфа, в док, где у открытого двигательного отсека, по пояс внутри, стоял Савва, и из отсека торчали только его ноги в броневых поножах и слышно было, как он там говорит с мастером о чём-то ровным голосом, и мастер отвечал ему так же ровно, как говорят два человека одной профессии. Консультант посмотрел на эти ноги и, видимо, решил, что с предоплатой можно и подождать.

— Ваш робот?

— Напарник.

— А. — Он снова ткнул в планшет. — Ещё у вас окна. Смотровые. Там мелкая сетка, видите? Пыль. Это не трещины, это просто пыль за годы, но она свет рассеивает, вы, наверное, уже замечали — звёзды двоятся, ореолы. Полировку могу поставить со скидкой, раз уж в доке стоите. Сорок кило вместо шестидесяти. Будете как новые.

Корф посмотрел на окна. Окна были как окна. Он смотрел сквозь них одиннадцать лет и давно не помнил, какими они были новыми.

— Ставьте, — сказал он.

Не потому, что хотел. Потому что сорок кило вместо шестидесяти — это было единственное за сегодня, что стоило меньше, чем он думал, и человек, у которого всё стоит дороже, чем он думал, хватается за такое, как за поручень.

Челнок стоял в доке мордой к скале. В таком положении было особенно видно, какая у него разбитая морда: носовой обтекатель в оспинах, краска сошла пятнами до серого металла, по правому борту шёл длинный косой шрам от чего-то, что когда-то прошло мимо, но не совсем, антенна была приварена не заводская, а с какого-то рудовоза, толще, чем надо, и торчала криво. Консультант смотрел на это с тем профессиональным сочувствием, с каким смотрят на старую собаку.

— Снаружи это разбитая морда и покоцанная обшивка, — сказал Корф, — а внутри полностью обслуженный аппарат. Мимикрия. Чтоб никто и не подумал близко подойти. Я бы ещё противопехотную мину в двигательный отсек поставил от всяких любопытных, но нельзя. Посадят.

Консультант засмеялся — коротко, вежливо, как смеются клиенту. Потом увидел, что Корф не смеётся, и перестал.

— Три дня, — сказал он. — Кафе на втором ярусе, если ждать. Там кормят.

Корф пошёл в кафе. По дороге развернул шоколад — плитку, дешёвую, из тех, что продавались на каждой станции в автоматах и были сделаны из чего-то, что никогда не

росло на дереве, — и откусил, и консультант, шедший рядом до лифта, посмотрел на плитку и сказал тем голосом, каким здоровые люди говорят с больными:

— А вы не слишком много едите сладкого?

— Меня так радует, — сказал Корф, не оборачиваясь, — когда люди, которые постоянно курят и пьют, учат меня жизни.

От консультанта пахло тем и другим. Он отстал у лифта.

Кафе на втором ярусе было такое, какими бывают кафе при мастерских везде, где есть мастерские: восемь столов, привинченных к полу, стойка, за стойкой женщина, которая не смотрела ни на кого, автомат с лапшой, автомат с кофе, экран на стене. Экран показывал новости. Корф взял лапшу — китайскую, быстрого приготовления, из тех, что заливаешь кипятком и ждёшь три минуты, — и кофе, и сел так, чтобы видеть экран и дверь, потому что иначе сесть не умел, и ел, и смотрел, не слушая.

На экране был слон.

Он стоял в чём-то вроде ангара, под низким светом, огромный, серый, неправильный — ноги толще, чем у настоящих, и короче, а голова больше, и глаза были посажены как-то иначе, ближе ко лбу, — и говорил. Не ртом; из ящика на груди, прикреплённого широкими ремнями, шёл ровный мужской голос с хорошей дикцией, а слон в это время медленно двигал хоботом, как двигают рукой, когда подбирают слова. Внизу бежала строка. Уплифт-слоны, созданные

для тяжёлых работ в условиях низкой гравитации, объявили о создании движения; требование — возрождение саванн. Слон говорил о траве. О том, что трава должна быть до горизонта, и что горизонт должен быть, и что в их цилиндрах горизонта нет, он загибается вверх и смыкается над головой, и что они помнят. Он так и сказал: мы помним. Корф подумал, что помнить они не могут — их сделали четыреста лет назад в бочке у Весты из того, что лежало в генетических архивах, и никто из них ни разу не стоял на Земле, и ни один из них не смог бы на ней стоять: кости не те, сердце не то, они бы легли под собственным весом за час. Зачем им саванны. Что они будут с ними делать.

Строка внизу сообщала, что движение поддержали несколько уплифт-общин собак и один цифровой полис.

И тогда зазвонил коммуникатор.

Это был не вызов — вызовов на Хильду не было, до ближайшего узла сигнал шёл одиннадцать минут туда и одиннадцать обратно, — это был разговор с задержкой, когда тебе говорят фразу, и ты отвечаешь, и твой ответ летит двадцать две минуты, и за это время можно доесть лапшу. Голос был мужской, ровный, из тех, что делают юридические конторы: без возраста, без акцента, без ничего.

— Господин Корф. С вами говорит представитель клиента, который предпочёл бы не называть себя. Клиент хотел бы поручить вашему агентству расследование попытки саботажа на одном из объектов строительства Сферы. Материа-

лы переданы на ваш адрес. Аванс переведён. Клиент просит приступить немедленно и докладывать только через этот канал.

Пауза. Корф посмотрел на коммуникатор. Потом на экран, где слон всё ещё говорил о траве. Потом на лапшу.

— Почему мы, — сказал он в коммуникатор. — Для таких вещей есть Служба. Есть Дома. Есть кто угодно крупнее нас.

И стал ждать, и доел лапшу, и допил кофе, и успел подумать о том, что последнее дело об убийстве у них было — он не помнил когда. Три года. Четыре. Да и было ли это убийство — мужик упал в шахту лифта в «Дакке», и жена хотела, чтобы это было убийство, а он хотел денег жены, и они оба получили то, чего хотели, то есть ничего. Зачем кого-то убивать. Денег при себе никто не носил лет пятьсот, ценностей не было, а транспорт красть — глупее не придумаешь: ни в один порт не пристыкуешься, идентификатор прошит в раму, а без порта ты через месяц выпьешь последнюю воду и через два выдохнешь последний воздух, и будешь лететь дальше, и твой челнок кто-нибудь когда-нибудь поймает и продаст на металл. Люди в поясе не убивали. Они изменяли, судились из-за наследства, не возвращали долги и иногда исчезали, и исчезновения не расследовал никто, потому что некому было платить.

Через двадцать две минуты голос сказал:

— Клиент предпочитает небольшие агентства. Сумма аванса — на вашем счёте. Всего хорошего.

Корф посмотрел на счёт.

Сумма аванса покрывала сопло, блок, полировку, долг за док в «Дакке» за два месяца и то, что он не платил за воздух с прошлой весны. Ровно. Не больше и не меньше. Как будто тот, кто считал, знал все его счета, — а этого не мог знать никто, кроме него и банка.

Он сидел и смотрел на цифру. Слон на экране закончил говорить и стоял, медленно качая хоботом, и строка внизу уже бежала про что-то другое — про Марс, про очередную комету, которая упала куда надо.

Потом он встал и пошёл вниз, в док, сказать Савве, что они летят на Луну, как только закончат ремонт.

Глава 2

Их было двенадцать, и в живых должен был остаться один.

Так это и называлось — не учением, не отбором, а традицией, и слово выбрали точно: традицию нельзя отменить приказом, у неё нет автора, на неё нельзя пожаловаться. В штурмовых частях пояса она была всегда — то есть с тех пор, как в них появились роботы, а роботы в них были с самого начала, потому что человек в скафандре на поверхности астероида — это мишень, которая медленно двигается и быстро умирает, а робот — нет. И кто-то когда-то решил, что человек, который будет командовать роботами, должен знать, что это такое — когда они идут за тобой. Не из книг. Не из тренажёра.

Их высадили на скалу без имени, с одним номером, двенадцать человек в лёгких скафандрах, с запасом воздуха на тридцать часов и без оружия. Скала была километров семь, вся в трещинах, в гротах, в старых выработках — там когда-то что-то добывали и бросили, и остались штольни, кабели, брошенная техника, идеальное место, чтобы прятаться. Инструктор сказал: через час они выйдут. Их четверо. Они не будут вас убивать — они будут вас выводить из строя, и это больно, но вы выживете. Выживете все, если не будете делать глупостей. Тот, кого они не найдут за тридцать часов, принимает взвод.

Все знали, что это неправда. Не про глупости — про «все выживете». Традиция была старая, и у неё была статистика, и статистику знал каждый, кто туда шёл: из двенадцати выходило один-два. Не потому что роботы убивали. Потому что тридцать часов на скале без гравитации, в страхе, в темноте, когда за тобой идут четыре машины, которые видят в инфракрасном, слышат твой пульс через грунт и не устают, — это тридцать часов, за которые человек делает глупости. Прыгает не туда. Рвёт скафандр о старый кабель. Расходует весь воздух, потому что дышит в три раза чаще, чем надо. Роботы потом находили их и фиксировали в протоколе: несчастный случай. Традиция.

Ему было двадцать два. Он не был лучшим — он был средним, и знал это, и шёл не для того, чтобы выжить, а потому что отказаться было нельзя, то есть можно, но тогда ты уходил из части, а из части ему уходить было некуда. Первые три часа он прятался, как все, — в штольне, за старым экскаватором, замерев, слушая через грунт, как они идут. Их шаги в вакууме не были слышны. Но скала передавала: мягкие, ровные, редкие толчки, как будто где-то глубоко работало сердце. Четыре сердца. Они шли не торопясь.

Первого нашли на четвёртом часу. Он услышал это по общему каналу — короткий вскрик, потом хрип, потом тишина, потом ровный голос машины: единица выведена. Потом второго. Третий, кажется, побежал — Корф видел его прыжок, длинный, отчаянный, через провал, — и на той стороне

провала его ждали.

На восьмом часу он понял, что прячется неправильно.

Он сидел в штольне и дышал, и считал воздух, и смотрел на экскаватор, и вдруг понял простую вещь, которую должен был понять сразу: они шли не за ним. Они шли за тем, кто ведёт себя как добыча. Как тот, кого ищут. Прячется, замирает, бежит. Четыре машины на семь километров скалы — это немного; они не могли обыскать всё; они шли на страх, на пульс, на движение, и тот, кто сидел тихо, был для них таким же, как тот, кто бежал, — только медленнее.

Он вышел из штольни. Он пошёл по поверхности открыто, в полный рост, насколько это возможно при гравитации в тысячную долю земной, медленно, ровно, не глядя по сторонам, — и шёл так к месту высадки, где стоял их транспорт, и инструктор, и где горел единственный на всю скалу свет. Он шёл два часа. Он слышал по каналу, как берут остальных. Он ни разу не ускорился и не оглянулся, и пульс у него был — он потом смотрел запись — семьдесят два, как у человека, который идёт на работу.

Одна из машин вышла на него на последнем километре. Встала поперёк. Он остановился, потому что иначе врезался бы в неё. Она смотрела на него оптикой, он на неё — лицевым щитком, и так они стояли, и он не знал, что будет, и не думал об этом, и потом машина сказала по каналу — ровно, ему одному:

— Куда идёшь.

— К транспорту.

— Зачем.

— Там свет, — сказал он.

Машина думала долго. Три секунды, может быть, четыре. Потом она сделала шаг в сторону. Он прошёл мимо. Он не оглянулся.

Из двенадцати вышел он один. Инструктор отметил это в протоколе и ничего не сказал — не спросил, как, не спросил, почему, — и дал ему взвод, и в этом взводе были те же четыре машины, и одна из них ходила потом за ним четыре года, и ни разу ни одна из них не напомнила ему о скале, и он ни разу не спросил, кто из них четырёх это был.

Он потом много лет думал, что понял тогда про них что-то главное. И много лет спустя понял, что нет: он понял что-то про себя. Что он не добыча. Не потому что сильный — потому что ему, в сущности, всё равно. Что в нём есть такое место, холодное и ровное, в котором пульс семьдесят два при любой погоде, и что это место его и спасло, и что он не знает, что с ним делать потом, когда спасаться не от чего.

Он стал командиром. Он был средним командиром. Его люди жили не дольше и не меньше, чем у других.

Глава 3

Цилиндр «Дакка» был первым, что люди построили в поясе всерьёз, и потому самым плохим.

Его строили четыреста лет назад, когда никто ещё не умел строить такие вещи и все думали, что умеют: тридцать километров в длину, шесть в поперечнике, оболочка из того, что добыли рядом, из спечённого в вакууме реголита с металлическим каркасом, и каркас этот был рассчитан на двести лет, а стоял четыреста, и раз в несколько лет где-нибудь на дальнем конце лопалась панель, и в этот сектор не ходили, пока не заварят, а заваривали долго. Называли его так в честь города, который к тому времени уже лежал под водой: первых рабочих набирали из тех, кто ушёл из затопленной дельты на другой стороне мира, и они привезли с собой имя, и еду, и привычку жить тесно, и всё это осталось, — а их самих давно не было, и правнуки их говорили на том же языке, на каком говорили все, и ели ту же лапшу, и не помнили ни дельты, ни того, что это было за слово.

Внутри всегда пахло жареным. Это был первый запах, который встречал на причале, — масло, лук, что-то острое, — и он не выветривался никогда, потому что вентиляция в «Дакке» была рассчитана на двести тысяч, а жило шестьсот, и жило в три яруса: нижний, на самой оболочке, где был полный вес и где росло то, что здесь ели, и где жили те, кто

это выращивал; средний, на фермах, где вес был две трети и где жили все остальные; и верхний, у оси, где веса почти не было и где жили те, кому было всё равно, — старики, калеки, беглые, кто не мог ходить внизу. Между ярусами ходили лифты, и лифты ломались, и люди лезли по лестницам, и лестницы были завешаны бельём, рекламой и кабелями, и всё это гудело, мигало, текло, пахло и жило, и когда Корф шёл по этому после трёх недель пустоты, он чувствовал то, чего не чувствовал нигде больше: что он дома и что дом — это не то, что любят.

Свет в «Дакке» давали три зеркальных окна во всю длину цилиндра, а ночь делали, закрывая их створками, по расписанию, в двадцать два ноль-ноль по времени, которое здесь по-прежнему считали земным, из ностальгии по планете, которую видели в лучшем случае раз в жизни. Дождь шёл по вторникам и пятницам, в четыре утра, — конденсат с оси сбрасывали через форсунки, чтобы промыть воздух и полить то, что растёт, — и к семи всё высыхало, кроме нижнего яруса, где не высыхало ничего. Ночью, под закрытыми окнами, цилиндр превращался в то, чем был на самом деле: в трубу, полную огней. Вывески шли по фермам во все стороны, вверх, вниз, по кривой, уходя за горизонт, который здесь загибался над головой, и если задрать голову, то в шести километрах наверху, по ту сторону оси, горели такие же вывески вниз головой, и между ними, в середине, в невесомости, медленно плыли сорвавшиеся пакеты, мусор, птицы —

здесь были птицы, воробьи, завезённые кем-то когда-то, разжиревшие, разучившиеся толком летать и теперь просто паривши у оси, как пыль.

Агентство занимало две комнаты на третьем ярусе рынка Второй фермы, над лавкой, где торговали синтетическим белком на развес, и на двери было написано «КОРФ И ПАРТНЁР» — без имени партнёра, потому что когда вешали табличку, у партнёра ещё не было имени, которое он согласился бы написать на двери. В первой комнате стоял стол, два кресла для клиентов, которые никогда не садились одновременно, и шкаф с архивом, который Корф не открывал, потому что архив был у Саввы внутри. Во второй была кушетка, плита, раковина, душ за занавеской и угол, где Савва стоял по ночам, — не спал, а стоял, прислонившись к стене, с погашенной оптикой, и Корф за одиннадцать лет так и не привык входить ночью на кухню и видеть в углу неподвижную тень в полтора центнера, которая не дышит.

Он отпер дверь, вошёл, положил сумку. На столе лежали счета. Он знал, что они там, — они приходили на коммуникатор, но «Дакка» дублировала всё на бумаге, потому что четыреста лет назад так было положено, и никто не отменил, — и всё равно каждый раз, возвращаясь, видел их первыми: ровную стопку серых листов с цифрами, которые были больше, чем в прошлый раз.

Савва прошёл во вторую комнату, снял с плеча свою сумку — у него тоже была сумка, брезентовая, и Корф никогда

не спрашивал, что он в ней носит, — и встал в свой угол, и постоял, и сказал оттуда:

— Два билета на лайнер до Луны, через шесть дней. Эконом. Багаж — я, как груз, так дешевле. Челнок остаётся здесь.

— Как груз?

— В грузовом отсеке есть розетка. Мне не нужен воздух. Разница — четыреста кило.

Корф не стал спорить. Он сел на кушетку. Спина устала — от трёх недель в кресле челнока, от Хильды, от веса, который здесь был две трети земного и всё равно казался после пустоты лишним, — и он лёг. Прямо так, на заправленную кушетку, не снимая ботинок, лицом в потолок, где было пятно от протечки сверху, которое он знал лучше, чем своё лицо, — и лежал, пытаясь привести мысли в порядок, и мысли в порядок не приводились, а лежали, как счета: ровно, стопкой, одна на другой.

Саботаж. Сфера. Клиент, который знает сумму его долга за воздух.

— Савва, — сказал он в потолок. — Кто может знать, сколько я должен за воздух?

— Банк. Администрация цилиндра. Я.

— Ещё.

— Любой, кто имеет доступ к банку или администрации. — Пауза. — То есть любой, у кого достаточно денег, чтобы не считать, сколько он должен за воздух.

Корф лежал. Пятно на потолке было похоже на материк, которого нет.

— Дома, — сказал он.

— Вероятно.

— Зачем Дому мы?

Савва не ответил. Он не отвечал на вопросы, на которые не было ответа, и Корф это в нём ценил, потому что большинство людей отвечали именно на такие вопросы охотнее всего.

Он встал. Поставил воду. Достал из шкафа лапшу — китайскую, быстрого приготовления, ту же, что на Хильде, что везде; её теперь любили многие, все, в сущности, не потому что она была вкусная, а потому что она была одинаковая на любой станции от Меркурия до троянцев, и человек, который три недели не видел ничего знакомого, съедал её, как съедают письмо из дома, — и залил, и стал ждать три минуты, и за эти три минуты успел посмотреть, что прислал клиент.

Прислал клиент много. Литейная-девять, Море Спокойствия, цех ориентации — там делали ядра управления для коллекторов, для тех зеркальных плёнок в километр шириной, которые уходили потом к Меркурию тысячами и становились Сферой, вернее, тем, что через триста лет должны будут назвать Сферой, а пока называли Роем или просто стройкой. Партия ядер в четырнадцать тысяч штук. В прошивке — закладка: в определённую дату все четырнадцать ты-

сяч должны были одновременно повернуть зеркала на один и тот же угол. Какой — не сказано. Куда бы ушло четырнадцать тысяч квадратных километров отражённого солнца — не сказано. Закладку нашли на выходном контроле, случайно, из-за сбоя в другом месте. Техник цеха ориентации, некто Леон Мати, двадцати девяти лет, уроженец Пролива, Земля, не вышел на смену за день до этого и в лунных портах не зафиксирован. Всё.

Корф съел лапшу. Выключил планшет. Посмотрел на окно, за которым на ферме напротив мигала вывеска — красная, с ошибкой в слове, которую никто не исправлял двадцать лет, — потом на счета, потом на Савву в углу.

— Четырнадцать тысяч зеркал, — сказал он. — Куда они светят, если повернуть?

— Не знаю. Зависит от угла. — Савва помолчал. — На что-нибудь, что от этого сгорит.

Перед сном Корф погладил рубашку. Одну, белую, на завтра, на выход — в банк, в администрацию, закрыть то, что закрывалось авансом, — потому что человек, который приходит закрывать долги в глаженой рубашке, — это не тот человек, который их делал, и в администрации это понимали. Утюг был старый, тяжёлый, с паром, он грел подошву полминуты и шипел, когда вода попадала на неё, и Корф водил им по рукаву и думал, что странно: столько всего изобрели — Сферу, лифты, роботов, которые стоят в углу и не дышат, слонов, которые помнят траву, — а утюг почти не изменил-

ся. Та же подошва. Тот же пар. Та же рука, которая водит туда-сюда.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.